



*Классика
для
школьников*



ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

*Рассказы русских писателей
для детей*

РЕКОМЕНДОВАНО
ЛУЧШИМИ
УЧИТЕЛЯМИ

Классика для школьников

Дмитрий Григорович

**Гуттаперчевый мальчик.
Рассказы русских писателей
для детей (сборник)**

«АСТ»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Григорович Д. В.

Гуттаперчевый мальчик. Рассказы русских писателей для детей (сборник) / Д. В. Григорович — «АСТ», — (Классика для школьников)

ISBN 978-5-17-103025-4

В книгу вошли рассказы русских писателей для детей: «Гуттаперчевый мальчик» Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900); «Воробышко», «Случай с Евсейкой», «Про Иванушку-дурачка», «Встряка. Страничка из Мишкиной жизни» Максима Горького, настоящее имя – Алексей Максимович Пешков (1868–1936); «Белый пудель», «Храбрые беглецы», «Ю-ю», «Слон», «Чудесный доктор», «Тапёр», «Синяя звезда» Александра Ивановича Куприна (1870–1938). История «гуттаперчевого мальчика» печальна. Петя лишился матери на пятом году жизни, и его определили в ученье к акробату Беккеру. Ученье давалось нелегко тщедушному мальчишке. Однажды клоун подарил Пете щенка, но радость мальчика была недолгой... А вот история маленького акробата Сережи из «Белого пуделя» заканчивается благополучно – мальчику удастся выволить своего любимого пуделя Арто... Рассказы сборника очень разные, но объединяет их одно – они учат понимать чужую боль, сочувствовать, сопереживать.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-17-103025-4

© Григорович Д. В.

© АСТ

Содержание

Дмитрий Васильевич Григорович	6
Гуттаперчевый мальчик	6
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Гуттаперчевый мальчик: рассказы русских писателей для детей

Дмитрий Васильевич Григорович

Гуттаперчевый мальчик

«...Когда я родился – я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...»

I

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к весёлости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трёх часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицы на Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты – всё смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько её выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчёт предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, – метель легко могла повредить делу. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится – касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссёр цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссёр мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное всё: опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи – уходили в темноту, местами неопределённо чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьяка, сырого песку и опилок. Под куполом воздух так уже сгустился, что трудно было различать очертание верхних окон; затемнённые снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь, как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать ещё больше сумрака. Во всём этом обширном тёмном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он

лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней логи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай учёных собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забелённые известью. У основания их, вдоль закруглённых коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свёртки цветных флагов; при свете газа чётко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золочёный шест и выделялась голубая, шитая блёстками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч с тем, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что всё здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопряжённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, – в этом светлом коридоре и расположенных в нём уборных встречались больше лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блёстками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперёк лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссёра он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссёр поспешил остановить его.

– Эдвардс, погодите минутку; успеете ещё раздеться! – сказал режиссёр, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, – подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите её сюда... А, фрау Браун! – воскликнул режиссёр, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, ещё старше салопы.

Фрау Браун подошла не одна: её сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

– Фрау Браун, – торопливо заговорил режиссёр, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, – господин директор недоволен сегодня вами – или, всё равно, вашей доче-

рю: очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!

– Я сама испугалась, – тихим голосом произнесла фрау Браун, – мне показалось, Мальхен упала на бок...

– А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

– Но, господин режиссёр, Бог свидетель, во всём виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч – лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели – это правда; но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссёр не смотрел на неё, и робко на него поглядывала.

– Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, – сказал режиссёр. – Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

– Но она вечером не работает...

– Будет работать, сударыня! Должна работать!.. – раздражённо проговорил режиссёр. – Вас нет в расписании, это правда, – подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, – но это всё равно; жонглёр Линд внезапно захворал, ваша дочь займёт его номер.

– Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, – проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, – теперь Масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

– На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно; и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом: именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссёр повернулся к ней спиной. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвёл его испытующим взглядом.

Притуплённый вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссёру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мёртвую; и тогда уже прощай все расчёты на клоуна – расчёты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглёром, мастером дрессировать учёных лошадей, собак, обезьян, голубей, а как клоун, как потешник – не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Всё тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, – чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было немного. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий: первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным име-

нем, простой ли смертный тёмного происхождения, – для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребёнком из труппы; за неимением такого он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился всё более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло ещё на его рассчитывать. Представления не успевали ещё утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и нарумяненный, с перпендикулярно наведёнными бровями, он видимо ещё бодрился, присоединяясь к товарищам и приготавливаясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам «браво!», звукам оркестра, – он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссёру крикнуть: «Клоуны, вперёд!..» – он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных «браво!» – неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ – и всё как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь: тогда ничего уже не помогало: он всё тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещённой ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; всё пропивалось, пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блёстками.

Понятно теперь, отчего режиссёр, следивший ещё с начала Масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвёл его в сторону.

– Эдвардс, – произнёс он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, – сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье – всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит... Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!.. Два дня всего! – прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать её из стороны в сторону. – Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, – подхватил он, очевидно более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, – вы говорили, он стал как будто слабее работать. Мудрёного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

– И там и здесь нехорошо у мальчика, – сказал он, отводя глаза в сторону.

– Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; нечем заменить до воскресенья; два дня пускай ещё поработает; там может отдохнуть, – сказал режиссёр.

– Может также не выдержать, – глухо возразил клоун.

– Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! – живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссёр, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошёл раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь,

Эдвардс вошёл в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединился запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлочная шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блёстками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась ещё столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер – совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо намаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, – он казался тяжеловесным и неповоротливым – обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене в трико телесного цвета он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, он был ещё в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива.

На другом стуле помещался, тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел ещё простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся ещё лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошёл в уборную.

– Чего надо? – неприветливо произнёс Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

– Полно, Карл, – возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, – ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повёл бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

– Не надо, – сказал Беккер, – не пущу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слёзы, взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

– Он вечером лучше будет работать, – продолжал задобривать Эдвардс. – Послушай-ка, вот что я скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, я велю принести из буфета пива...

– И без того есть! – грубо перебил Беккер.

– Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: весёлость придаёт силу и бодрость...

– Это уж моё дело! – отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул ещё раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головой и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: «Марш!» и, пропустив вперёд воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыплёнок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.

II

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишах; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка; да и где ж ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год!

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, её помнил. Как теперь видел бы перед собою тощую женщину со светлыми, жиденькими и всегда растрёпанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвёртывалось под руку: луком, куском пирога, селёдкой, хлебом, – то вдруг, ни с того ни с сего, накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлёпать его чем ни попало и куда ни попали. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

Он, конечно, не знал подробностей домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше ни меньше, как крайне взбалмошная, хотя и добрая чухонка, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и отовсюду гонимая, отчасти за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти за неряшливое обращение с посудой, бившейся у неё в руках как бы по собственному капризу.

Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место: она и тут не выдержала. Не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно-отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать её решимости. Чухонцы, говорят, вообще упрямы. Но не меньшим упрямством отличался, должно быть, также и жених – даром что был из русских. Побуждения с его стороны были, впрочем, гораздо основательные. Состоя швейцаром при большом доме, он мог уже считать себя некоторым образом человеком осёдлым, определённым. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством: потолок срезывался углом, так что под возвышенной его частью с трудом мог выпрямиться человек рослый, но люди живут и не в такой тесноте; наконец, квартира даровая, нельзя быть взыскательным.

Размышляя таким образом, швейцар всё ещё как бы не решался, пока не удалось ему случайно купить за очень дешёвую цену самовара на Апраксином дворе. Колебания его при этом начали уступать на более твёрдую почву. Возиться с самоваром, действительно, было как-то не мужским делом; машина, очевидно, требовала другого двигателя; хозяйка как бы сама собою напрашивалась.

Анна (так звали кухарку) имела в глазах швейцара то особенное преимущество, что, во-первых, была ему уже несколько знакома; во-вторых, живя по соседству, через дом, она в значительной степени облегчала переговоры и сокращала, следовательно, время, дорогое каждому служащему.

Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу.

Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то ни сё; наконец дело совсем испортилось, когда наступило время родов и затем – хочешь не хочешь – пришлось справлять крестины. Швейцару как бы в первый раз пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попреки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорождённого, беспокоившие жильцов.

Последнее, без сомнения, было несправедливо. Новорождённый явился на свет таким тщедушным, таким изнурённым, что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня:

если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребёнок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал, – новорождённый действительно мог бы оправдать предсказанье. К этому надо прибавить, что воздух под лестницей не имел в самом деле настолько целебных свойств, чтобы в один день восстановить силы ребёнка и развить его лёгкие до такой уже степени, что крик его мог кого-нибудь обеспокоить. Вернее всего дело заключалось в желании удалить беспокойных родителей.

Месяц спустя швейцара потребовали в казармы; в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход.

Перед разлукой супруги снова сблизились; на проводах много было пролито слёз и ещё больше пива.

Но ушёл муж – и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было: с ребёнком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год.

Анну вызвали однажды в казармы, объявили, что муж убит, и выдали ей вдовый паспорт.

Обстоятельства её, как каждый легко себе представит, нисколько от этого не улучшились. Выпадали дни, когда не на что было купить селёдки и куска хлеба для себя и для мальчика; если б не добрые люди, совавшие иногда ломоть или картошку, мальчик наверное бы зачах и преждевременно умер от истощения. Судьба наконец сжалась над Анной. Благодаря участию соотечественницы Варвары она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на Чёрной речке.

Здесь действительно можно было вздохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал; он мог всюду следовать за матерью и цепляться за её подол сколько было душе угодно.

Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился, оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомлённые работой и дневным жаром, женщины спускались на плот, усаживались по скамейкам, и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, приправляемая прибаутками и смехом.

В увлечении беседы редкая из присутствующих замечала, как прибрежные вётлы постепенно окутывались тенью и в то же время всё ярче и ярче разгорался закат; как неожиданно вырывался из-за угла соседней дачи косой луч солнца; как внезапно охваченные им макушки вётел и края заборов отражались вместе с облаком в уснувшей воде и как, одновременно с этим, над водою и в тёплом воздухе появлялись беспокойно движущиеся сверху вниз полчища комаров, обещавшие такую же хорошую погоду и на завтрашний день.

Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика – тогда ещё не гуттаперчевого, но обыкновенного, какими бывают все мальчики. Сколько раз потом рассказывал он о Чёрной речке клоуну Эдвардсу. Но Петя говорил скоро и с увлечением; Эдвардс едва понимал по-русски; отсюда выходил всегда целый ряд недоразумений. Думая, что мальчик рассказывает ему о каком-то волшебном сне, и не зная, что отвечать ему, Эдвардс ограничивался тем обыкновенно, что ласково проводил ему ладонью по волосам снизу вверх и добродушно посмеивался.

И так Анне жилось изрядно, но прошёл год, другой, и вдруг, совершенно опять неожиданно, объявила она, что выходит замуж. «Как? Что? За кого?..» – слышалось с разных сторон. На этот раз жених оказался подмастерьем из портных. Каким образом, где сделано было знакомство, – никто не знал. Все окончательно только ахнули, увидев жениха – человека ростом с напёрсток, съёженного, с лицом жёлтым, как испечённая луковица, притом ещё прихрамывающего на левую ногу, – ну, словом, как говорится, совершенного михрютку.

Никто решительно ничего не понимал. Всех меньше, конечно, мог понять Петя. Он горько плакал, когда его уводили с Чёрной речки, и ещё громче зарыдал на свадьбе матери, когда в конце пирушки один из гостей ухватил вотчима за галстук и начал душить его, между тем как мать с криком бросилась разнимать их.

Не прошло нескольких дней, и наступила уже очередь Анны пожалеть о торопливости связать себя брачными узами. Но дело было сделано; каяться было поздно. Портной проводил день в мастерской; к вечеру только возвращался он в свою каморку, сопровождаемый всегда приятелями, в числе которых лучшим другом был тот, который собирался задушить его на свадьбе. Каждый приносил поочерёдно водки, и начиналась попойка, оканчивавшаяся обыкновенно свалкой. Тут доставалось всегда Анне, попадало также мимоходом на долю мальчика. Сущая была каторга! Худшим для Анны было то, что муж почему-то невзлюбил Петю; он косил на него с первого дня; при каждом случае он изловчался зацепить его и, как только напивался, грозил утопить его в проруби.

Так как портной пропадал по несколько дней сряду, деньги все пропивались и не на что было купить хлеба, Анна, для прокормления себя и ребёнка, ходила на подённую работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме; летом старуха продавала яблоки, зимою торговала на Сенной варёным картофелем, тщательно прикрывая чугунный горшок тряпкой и усаживаясь на нём с большим удобством, когда на дворе было слишком холодно. Она всюду таскала Петю, который полюбил её и называл бабушкой.

По прошествии нескольких месяцев муж Анны совсем пропал; одни говорили – видели его в Кронштадте; другие уверяли, что он тайно обменял паспорт и переселился на жительство в Шлиссельбург, или «Шлюшино», как чаще выражались.

Вместо того чтобы свободнее вздохнуть, Анна окончательно тогда замоталась. Она делалась какою-то шальной, лицо её осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала; к жалкому её виду надо ещё то прибавить, что вся она обносилась; нечего было ни надевать, ни закладывать; её покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды и она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла её на улице в обессиленном от голода состоянии. Её свезли в больницу. Соотечественница её, прачка Варвара, навестив её раз, сообщила знакомым, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня-завтра отдаст Богу душу.

Так и случилось.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери. В последнее время он мало с ней виделся и потому отвык несколько: он жалел её, однако ж, и плакал, – хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро; с низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колот лицо, как иголками, и волнами убегал по мёрзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами; одежда на нём случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть – если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. Ознакомясь потом близко с усталостью ног и спины, он всё-таки помнил, как уходился тогда, провожая покойницу.

На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует, но как это сделать? К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие и притом практические люди. Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б снова не вступилась прачка Варвара.

III

Заглядывая к «бабушке» и встречая у неё мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся тёмным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них бельё. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история: все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался; всем, по-видимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире оставался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива – две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая, как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только из зависти!

По привычке охорашиваться перед публикой он принял позу даже при виде прачки.

– Ну вот, Карл Богданович... вот мальчик!.. – проговорила Варвара, выдвигая вперёд Петю.

Надо заметить, весь разговор происходил на странном каком-то языке. Варвара коверкала слова, произнося их на чухонский лад; Беккер скорее мычал, чем говорил, отыскивая русские слова, выходившие у него не то немецкими, не то совершенно неизвестного происхождения.

Тем не менее они понимали друг друга.

– Хорошо, – произнёс акробат, – но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Беккер повторил своё требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за неё руками, начал кричать и биться, как цыплёнок под ножом повара.

– Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался? Раздётся, батюшка, раздётся... ничего... смотри ты, глупый какой! – повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстёгивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся, как выюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпенье. Положив на стол трубку, он подошёл к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал ещё сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голого поперёк колен, принялся ощупывать ему грудь и бока,

нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Пети: Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал, но с другой стороны, она боялась вступить, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитанье в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слёзы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает – только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиной и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребёнка вдруг выпучилась ребром вперёд, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, – Варвара не могла уже выдержать; она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлёбываясь от слёз.

– Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя... – повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребёнка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не действовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, не убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате: он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за её руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец всё это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза.

Петя продолжал трястись, как в лихорадке; черты его худенького, болезненного лица как-то съёживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

– Ну, малшик, слуш, – сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети, – когда ты хочу там... (он указал на дверь), – то будет тут!! (он указал несколько ниже спины), – und fest! und fest!¹ – добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повёл его в цирк. Там всё суенилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочёвывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нём любопытство. Он забился в угол и, как дикий зверёк, глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было! И все проходили мимо.

Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю; наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подле никого не было, и скоро-скоро перебежал к намеченному месту.

Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей. Спины их, лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущённой мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов; Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам.

¹ И сильно! И сильно! (нем.)

Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался, но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпенья своего хозяина, он снова засыпал.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди; ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нём Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал о том только, как бы не заплакать.

Особенно тяжело стало ему, когда началось ученье. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике; Петя был лёгок, как пух, и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом ещё не было. Беккер не сомневался, что сила приобретётся от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой манёвр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка: мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул; но только, когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги в воздухе, – последнее редко удавалось; Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская, заключалась в тузах, которыми всякий раз наделял его Беккер, забывавший, что упражнениями такого рода он скорее мог содействовать к развитию собственных мускулов, которые и без того были у него в надёжном порядке.

Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперёк её переключин, на некоторой высоте от пола, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу, сначала пять минут, потом десять, – и так каждый день по несколько приёмов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головою. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, – лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздражающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врываются в его комнату и отнимают из рук его мальчика.

Начиналась брань и ссора, – после чего Пете приходилось иногда ещё хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать,

что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмёшь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян; что страх внушает несомненно робость, а робость – первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

В пример приводился часто акробат Ризлей, который так напугал собственных детей перед представлением, что, когда пришлось подбросить их ногами на воздух, – дети раза два перекувырнулись в пространстве, да тут же прямёхонько и шлёпнулись на пол.

– Бросились подымать, – подхватывал Эдвардс, делая выразительные жесты, – подняли, глядь, оба fertig!² готовы! У обоих дух вон! Дурак Ризлей потом застрелился с горя, – да что ж из этого? Детей своих всё-таки не воскресил: fertig! fertig!..

И странное дело: каждый раз как Эдвардс, разгорячённый беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнение с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлёпывая румянами два клякса на щеках, выводил его во время представления на арену; иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок – чем пробуждал всегда весёлый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие очевидно замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нём, стесняло ему мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лёжа на тюфячке, прислушивался он к храпению акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика. Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища.

Прожив с Петей несколько месяцев, он точно взял его накануне. Завиваясь тщательно каждый день у парикмахера цирка, Беккеру, по-видимому, всё равно было, что из двух рубашек, подаренных мальчику прачкой Варварой, – оставались лохмотья, что бельё на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдуардс, часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щёлкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно. Он хуже этого делал.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге; он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело утешённо целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представления тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной.

Беккер, раздражённый окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощёчину.

² Готовы! (нем.)

– Schwein!³ Швыня!.. тьфу!.. – сказал Эдвардс, отплёвываясь с негодованием.
Но что уж дальше рассказывать!

Несмотря на лёгкость и гибкость, Петя был, как мы сказали выше, не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

IV

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковёр также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально заставлена игрушками; они группировались тем разнообразнее и живописнее, что у каждого из детей было своё особое отделение.

Пёстрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках – обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками и запряжённая в коляску, большой белый козёл, казак верхом, *барабан* и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликке, – обозначали владения мужского пола. Комната эта так и называлась «игральной».

Рядом была учебная; дальше спальная, окна которой всегда были закрыты занавесами, приподнимавшимися там только, где вертелась вентиляционная звезда, очищавшая воздух. Из неё, не подвергая себя резкой перемене воздуха, можно было прямо пройти в уборную, выстланную также ковром, но обшитую в нижней её части клеёнкой: с одной стороны находился большой умывальный мраморный стол, уставленный крупным английским фаянсом; дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки; подле возвышалась голландская печь с изразцовым шкапом, постоянно наполненным согревающимися полотенцами. Ближе, по клеёнчатой стене, висел на тесёмках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Бликке каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело.

В среду, на Масленице, в игральной комнате было особенно весело. Её наполняли восторженные детские крики. Мудрёного нет; вот что было здесь между прочим сказано: «Деточки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда, если вы будете так продолжать, – вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тётей Соней, сестрой графини Листомировой, – девушкой лет тридцати пяти, сильной брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости; она постоянно носила чёрное платье, думая этим хоть сколько-нибудь скрыть полноту, начинавшую ей надоедать. Тётя Соня жила у сестры и посвятила жизнь её детям, которых любила всем запасом чувств, не имевших случая израсходоваться и накопившихся с избытком в её сердце.

Не успела она проговорить своё обещанье, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросились со всех ног осаждать её; кто цеплялся за её платье, кто усиливался влезть на её колена, кто успел обхватить её шею и осыпал лицо поцелуями; осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликке вошла в одну дверь, в

³ Свиныя! (нем.)

другую вбежала молодая швейцарка, приглашённая в дом как учительница музыки для старшей дочери; за ними показалась кормилица, державшая новорождённого, укутанного в одеяло с ниспадавшими до полу кружевными обшивками.

– What is going on here?...⁴ – удивлённо осведомилась мисс Бликс.

Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающеюся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красною шеей свекловичного оттенка.

Тётя Соня объяснила вошедшим причину радости.

Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъятиями радости. В этом порыве детской весёлости всех больше удивил Паф – пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых; мальчик был всегда таким тяжёлым и апатическим, но тут, под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, – он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щёку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, – принялся изображать клоуна.

– Мисс Бликс! Подымите его, подымите скорее, – ему кровь бросится в голову! – проговорила тётя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел вставать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

– Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите больше быть умными... Не хотите слушать, – говорила тётя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Ну, не могла она этого сделать – не могла решительно!

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина, мальчику было, как сказано, – пять. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф – имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматического, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось кушанье или говорилось о еде. Глазки, смотревшие вообще сонливо, проявляли также оживление и беспокойство по утрам и вечером, когда мисс Бликс брала Пафа за руку, уводила его в уборную, раздевала его донага и, поставив на клеёнку, принималась энергически его мыть огромной губкой, обильно напитанной водою; когда мисс Бликс при окончании такой операции возлагала губку на голову мальчика и, крепко нажав губку, пускала струи воды по телу, превращавшемуся тотчас же из белого в розовое, – глазки Пафа не только суживались, но пропускали потоки слёз, и вместе с тем раздавался из груди его тоненький-тоненький писк, не имевший ничего раздражённого, но походивший скорее на писк кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот. Этим невинным писком, впрочем, всё и оканчивалось. С исчезновением губки Паф умолкал мгновенно, и уже потом мисс Бликс могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, могла завёртывать ему голову, могла мять и тереть его, – Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в руках пекаря. Он часто даже засыпал между тёплыми шершавыми полотенцами, прежде чем мисс Бликс успевала уложить его в постель, обтянутую вокруг сеткой и завешенную кисейным пологом с голубым бантом на маковке.

Нельзя сказать, чтобы мальчик этот был особенно интересен; но нельзя было не остановиться на нём, так как он представлял теперь единственную мужскую отрасль фамилии графов Листомировых и, как справедливо иногда замечал его отец, задумчиво глядя вдаль и мелан-

⁴ Что здесь происходит? (англ.)

холически свешивая голову набок: «Мог – кто знает? – мог играть в будущем видную роль в отечестве?!»

Предрешать будущее вообще трудно, но, как бы там ни было, с той минуты, как обещано было представление в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата.

Едва-едва начинался между ними признак разлада – она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу, и, поочередно целуя то того, то другую, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Эта Верочка была во всех отношениях прелестная девочка: тоненькая, нежная и вместе с тем свежая, как только что снесённое яичко, с голубыми жилками на висках и шее, с лёгким румянцем на щеках и большими серо-голубыми глазами, смотревшими из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам внимательно; но лучшим украшением Верочки были её волосы пепельного цвета, мягкие, как тончайший шёлк, и такие густые, что мисс Бликс долго билась по утрам, прежде чем могла привести их в должный порядок. Паф мог, конечно, быть любимцем отца и матери, как будущий единственный представитель именитого рода, – но Верочка, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги; помимо её миловидности, её любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. Ещё четырёх лет она с самым серьёзным видом входила в гостиную и, сколько бы ни было посторонних лиц, прямо и весело шла к каждому, давала руку и подставляла щёку. К ней даже особенно как-то отнеслись, чем к другим детям. Вопреки давно принятому обычаю в семье графов Листомировых давать различные сокращённые и более или менее фантастические прозвища детям, Верочку иначе не называли, как её настоящим именем. Верочка была – Верочкой и осталась.

Что говорить, у неё, как у всякого смертного, были свои слабости, вернее, была одна слабость, но и она как бы скорее служила гармоническим дополнением её характеру и наружности. Слабость Верочки, заключавшаяся в сочинении басен и сказок, проявилась первый раз, как ей минул шестой год. Войдя однажды в гостиную, она при всех неожиданно объявила, что сочинила маленькую басню, и тут же, нимало не смущаясь, с самым убеждённым видом принялась рассказывать историю про волка и мальчика, делая очевидные усилия, чтобы некоторые слова выходили в рифму. С тех пор одна басня сменяла другую, и несмотря на запрещение графа и графини возбуждать рассказами сказок воображение и без того уже впечатлительной и нервной девочки, Верочка продолжала делать свои импровизации. Мисс Бликс не раз должна была ночью приподыматься с постели, заслышав какой-то странный шёпот, исходивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись, что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонятные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая заснуть немедленно, – приказание, которое Верочка тотчас же исполняла со свойственной ей кротостью.

Словом, это была та самая Верочка, которая, вбежав как-то в гостиную и застав там сидевшего с матерью известного нашего поэта Тютчева, ни за что не хотела согласиться, что седой этот старичок мог сочинять стихи; напрасно уверяли мать и сам Тютчев – Верочка стояла на своём; поглядывая недоверчиво на старика своими большими голубыми глазами, она повторяла:

– Нет, мама, это не может быть!..

Заметив наконец, что мать начинает сердиться, Верочка взглянула ей робко в лицо и проговорила сквозь слёзы:

– Я думала, мама, что стихи сочиняют только ангелы...

С самой среды, когда обещано было представление в цирке, до четверга благодаря нежной заботливости Верочки, её уменью развлекать сестру и брата оба вели себя самым пример-

ным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи – девочкой болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам.

В четверг на Масленице тётя Соня вошла в игральную комнату. Она объявила, что, так как дети были умны, она проездом в город желает купить им игрушек.

Радостные восклицания и звонкие поцелуи опять наполнили комнату. Паф также ожил и заморгал своими киргизскими глазками.

– Ну, хорошо, хорошо, – сказала тётя Соня, – всё будет по-вашему, тебе, Верочка, рабочий ящик, – ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг; тебе, Зизи, куклу...

– Которая бы кричала! – воскликнула Зизи.

– Которая бы кричала! – повторила тетя Соня, – ну, а тебе, Паф, тебе что? Что ты хочешь?.. – Паф задумался. – Ну, говори же, что тебе купить?..

– Купи... купи собачку – только без блох!.. – добавил неожиданно Паф.

Единодушный хохот был ответом на такое желание. Смеялась тётя Соня, смеялась кормилица, смеялась даже чопорная мисс Бликс, обратившаяся, впрочем, тотчас же к Зизи и Верочке, которые начали прыгать вокруг брата и, заливаясь смехом, принялись тормошить будущего представителя фамилии.

После этого все снова повисли на шее доброй тётки и докрасна зацеловали её шею и щёки.

– Ну, довольно, довольно, – с ласковой улыбкой произнесла тётя, – хорошо; я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас очень... очень... очень!.. Итак, Паф, я куплю тебе собачку: будь только умён и послушен; она будет без блох!..

V

Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница.

За четверть часа до завтрака тётя Соня вошла в «маленькую» столовую, так называемую для отличия её от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных.

Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приёмами утончённого дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, всё ли на нём в порядке. Два других лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками.

Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон.

– Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк? – произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тётке Соне и в то же время украдкой поглядывая на мужа.

– Отчего же? – весело возразила тётя, усаживаясь подле самовара, – я смотрела афишку: сегодня не будет выстрелов, ничего такого, что бы могло испугать детей, – наши детки были, право, так милы... Нельзя же их не побаловать! К тому же удовольствие это было им обещано.

– Всё это так, – заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошёл в эту минуту к столу и занял обычное своё место, – но я всегда боюсь этих зрелищ... Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны...

Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что всё в доме творится без его совета и ведома.

Но граф и тут ничего не сказал.

Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих, – хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере

его мыслей, так как он больше ограничивался намёками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе: «Не стоит!» Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость.

Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным-длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, – и напрасно это делал; по справедливости ему следовало бы даже гордиться худобой ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых.

Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица, с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно ухившим между сплюснутыми боками головы, большею частью склонённой набок.

Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли ещё не в то время, когда ему минуло девятнадцать лет и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как вёрсты по шоссе на дороге, – ничего только из этого не вышло.

На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил, но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно чем-то неудовлетворённый. Мысли ли его были непоняты как следует или действия не оценены по справедливости, – только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, – если не считать, конечно, нескольких звёзд на груди и видного придворного чина.

Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот.

Граф был только аккуратен. Прирождённое это свойство доходило, правда, до педантизма, но, в сущности, было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенною на том месте, где была однажды положена; каждый мельчайший предмет имел свой определённый пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы: кто переставил? зачем? почему? и т. д.

Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой; время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозревая камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами: «*Tu penses? Tu crois? Quelle idee!...*»⁵ – и только.

С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далёкий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую, Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивал бумажку, когда номер был кверху или книзу и не подходил с другими, запирали пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «Ох-хо-хо-хо-хо!!» – после чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая всё, что казалось ему лежащим неправильно.

⁵ Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль!... (фр.)

Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоём с женою, – и находя это необходимым потому, что это... это всегда поддерживает – именно поддерживает... – но что поддерживает, – это граф никогда не досказывал.

– *Tu crois? Tu penses? Quelle idee!..* Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тётей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, – из чего жена и тётя Соня с огорчённым чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением.

Тогда обыкновенно наступала очередь тётки Сони утешать сестру – когда-то весьма красивую, весёлую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощённую частыми родами, как вообще бывает с жёнами меланхоликов.

На больших булевских часах столовой пробило двенадцать.

С последним ударом граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую.

– Отчего же детей нет? – торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тётю Соню. – Мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в двенадцать часов; скажите мисс Бликс, что завтрак давно готов! – обратилась она к буфетчику.

Но в эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую.

Завтрак прошёл, по обыкновению, очень чинно.

Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили; сильные изъяснения каких бы то ни было чувств пробуждали в нём всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости.

На этот раз по крайней мере граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупреждённые Верочкой, не произнесли ни слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда ещё не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такою силой, что на секунду совершенно заслонила её лицо своими пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тётке Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору, и в глаза, в щёки, в подбородок, в нос – словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тётки. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, – далеко не с таким воодушевлением.

Верочка между тем подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

– Мама... можно?.. Можно взять эту афишку?..

– Можно.

– Зизи! Паф! – восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой, – пойдёмте скорее!.. Я расскажу вам всё, что мы сегодня увидим в цирке: всё расскажу вам!.. Пойдёмте в наши комнаты!..

– Верочка!.. Верочка! – слабо, с укором, проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игровой комнате, освещённой полным солнцем, стало ещё оживлённее.

На низеньком столе, освобождённом от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тётя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, – все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного боку, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тёти и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

– Милая моя, – тихо произнесла тётя Соня, – зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа; всё это мы уже знаем; читай лучше дальше: в чём будет заключаться представление.

– Нет уж, душечка тётя; нет уж, ты только не мешай мне, – убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка, – ангельчик тётя, не мешай!.. Уж я всё прочту... всё, всё... что тут напечатано... Ну, слушайте:

– «*Парфорсное упражнение на неосёдланной лошади. Исполнит девица...*» Тётя, что такое парфорсное?

– Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! – сказала тётя, стараясь выйти из затруднения.

– Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: «*Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...*» Это, тётя, что же такое трапеция?.. Как это будет? – спросила Верочка, отрываясь от афишки.

– Как будет? – нетерпеливо подхватила Зизи.

– Как? – произнёс в свою очередь Паф, поглядывая на тётю киргизскими глазками.

– Зачем же я буду всё это вам рассказывать! Не лучше ли будет, когда сами вы увидите... Затруднение тёти возрастало; она даже несколько покраснела.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

– «*Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в шесть аришин!!*» Нет, душечка тётя, это уж ты нам расскажешь!.. это уж расскажешь!.. Какой же это мальчик? Он настоящий? живой?.. Что такое: гуттаперчевый?

– Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... наконец, вы это увидите...

– Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

– Как будет он делать? – подхватила Зизи.

– Делать? – коротко осведомился Паф, открывая рот.

– Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много... Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером всё это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала; ну, что ж дальше?..

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такою живостью; интерес заметно ослаб; он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, поглядывал на всех своими киргизскими глазками –

что всякий раз вызывало восклицание у тётки Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову.

Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда ещё не было так весело в игровой комнате.

Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, весёлые, покрасневшие лица, играло на разбросанных повсюду пёстрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, тёплым светом. Всё, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Тётя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала её доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой; давно примирилась с неудачами жизни. И прежние мечты свои, и ум, и сердце – всё это отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем...

Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонило большой серой тучей и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего уже нельзя было видеть; метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья.

Первое чувство тётки Сони – было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тётке и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила:

– Это ничего, тётя?.. Мы в цирк поедem?..

– Ну, конечно... конечно! – поспешила успокоить тётя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть.

Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной весёлости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тётя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы; глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тётя, ты ничего, я знаю; а вот что там будет, что папа и мама говорят...»

Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивее: они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тётке и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший встречался был тем же вопросом:

– Который час?

– Пятый в начале.

– А скоро будет семь?

– Скоро: подождите немножко.

Детский обед прошёл в расспросах о том, какая погода и который час.

Тётя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия, Зизи и Паф хотя и волновались, но ещё верили; что ж касается Верочки, – известие о том, что метель всё ещё продолжается, заметно усиливало её беспокойство. По голосу тётки, по выражению её лица она ясно видела, что было что-то такое, чего тётя не хотела высказывать.

Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тётя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем всё поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещённой теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать.

– Пойдёмте теперь; надо проститься с папа` и мама`, – проговорила тётя, взяв за руку Верочку и пропуская вперёд Зизи и Пафа.

Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие.

Церемония прощанья не была продолжительна.

Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели и прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырёхместная карета, полузанесённая снегом. Лакей величественного вида, с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами à l'anglaise⁶, побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому, седому швейцару; он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трём дамам; и надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения.

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.

VI

Представление в цирке ещё не начиналось. Но на Масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти люди при входе с улицы в ярко освещённую залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили – кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах.

Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была ещё пуста.

Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пёструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза. Но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера.

Между ними всех милее была всё-таки Верочка!

Голубая атласная стёганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к её нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, ниспадавшим до плеч, прикрытых такою же стёганой голубой мантилей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла; однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нащёптывать что-то Зизи и Пафу и не поглядывать весёлыми глазами на тётю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой.

Зизи была одета точь-в-точь как сестра, но подле неё она как-то пропадала и делалась менее заметной; к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещания тётя, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое.

Один Паф, можно сказать, был невозмутим; он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком.

⁶ На английский манер (фр.).

Неожиданно оркестр заиграл учащённым темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошёл одобрителный говор.

Представление началось.

Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нём тотчас же любимца Эдвардса.

– Браво, Эдвардс! Браво! Браво! – раздавалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки: кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая во все стороны, пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убила утробом, во время представления.

На этот раз всё прошло, однако ж, благополучно.

Девицу Амалию сменил жонглёр; за жонглёром вышел клоун с учёными собаками; после них танцевали на проволоке; выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, – словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

– Душечка тётя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? – спросила Верочка.

– Да; в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?

– Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! – восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Блике, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью.

– Ну, а тебе, Зизи?... тебе, Паф, – весело ли?..

– А стрелять будут? – спросила Зизи.

– Нет, успокойся; сказано: не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться; с первых минут антракта всё внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

– Когда же будет гуттаперчевый мальчик? – не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой, – когда же он будет?..

– А вот, сейчас...

И действительно. Под звуки весёлого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика.

Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блёстками. За ними два прислужника вынесли длинный золочёный шест, с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались, по обыкновению, красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеждённое лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большою бабочкою на груди.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, – после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление.

Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка.

Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься вверх.

Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй.

Снова всё смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс.

Мальчик между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блёстками.

Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

– Bravo!.. Bravo!.. – раздалось снова в зале.

– Довольно! довольно!! – послышалось в двух-трёх местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй.

Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешёл к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Всё шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался всё ниже и ниже и начинал скользить на спине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.